



Жизненный путь личности

Князь Евгений Николаевич Трубецкой

СПОР О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ*

Борьба между
смыслом
и бессмыслицей

Есть яркое олицетворение той внутренней борьбы, которая происходит в человеке, – борьбы между смыслом и бессмыслицей. Это – сон, один из самых радостных человеческих снов, и вместе – один из самых распространенных – сон, необыкновенно часто повторяющийся. Его, кажется, все, или почти все, видели, и притом – по многу раз. Вам кажется во сне, что вы летаете. Кругом люди бегают, ходят, борются с земной тяжестью. Но для видящего этот сон всякая тяжесть отпала, всякая высота доступна; все существо его переполнено радостным чувством какой-то необычайной легкости подъема. Самая замечательная черта этих снов, это – то чувство неотразимой реальности, которым они сопровождаются. Вы спите и в то же время сомневаетесь – не сон ли это. Но видение не проходит, а продолжается. Вы испытуете вашу силу в самых невероятных подъемах и взлетах; вы ощущаете ее в неподвижном парении на головокружительной высоте и в этих испытаниях находите неопровержимые доказательства реальности вашего полета.

Но вдруг пробуждение разрушает эту радость; оно ставит вас лицом к лицу с ином, тоже неотразимой реальностью, с реальностью непреодолимой тяжести в ваших членах и плоскости, к которой вы прикованы. Вы не в силах не только взлететь, но даже и подняться с постели, да и не хочется подниматься! Когда вы встанете, вас ждет тот же

* Из книги: *Трубецкой Е.Н. Смысл жизни*. М., 1918.

Действительность сна и действительность пробуждения

отвратительный, будничны кошмар, от которого вы жаждете избавления.

Этот сон скрывает в себе глубочайшую жизненную проблему. Вот перед нами две действительности – действительность сна и действительность пробуждения. Обе требуют от нас признания своей реальности, навязываются нам с силой непосредственной очевидности. Тяжесть моих членов после пробуждения говорит мне, что подлинная реальность есть именно эта кошмарная действительность с ее суетой и бессмысленным кружением. А сон говорит мне другое, прямо противоположное. Реален только тот крылатый гений, которого ты в себе ощущаешь, реален этот могучий подъем и полет, действительно только это парение над бессмыслицею. Не это видение есть сон, а тот кошмар всеобщей бессмыслицы и тяжести, который станет пред тобою чрез полчаса в твоём мнимом пробуждении.

Что действительно и что сон?

Как же нам решить этот спор? Чем более мы вникаем в поставленный вопрос, тем больше мы убеждаемся, что нет решительно никаких философских оснований – предпочесть свидетельство так называемой действительности свидетельству вещного сна. Ссылаться на непосредственную очевидность и доказывать ею обманчивость «сна» мы не имеем никакого права, ибо вопрос идет именно о том, что – действительность, и что – Сон; а непосредственная очевидность, свидетельствующая о достоверности и реальности, в обоих случаях совершенно одинакова.

Сопоставление так называемой действительности и сна по внутреннему содержанию опять-таки не дает нам никакого решения, потому что в так называемой действительности с ее хаосом, внутренним раздором и вечно исчезающими иллюзиями – несравненно больше бредового и кошмарного, чем в том прозрачном, кристально ясном и радостном сне.

К тому же и наяву свидетельство нашего сна находит себе многочисленные подтверждения. Ведь этот сон только облекает в фантастическую форму то самое ощущение нашей духовной свободы, которое радует нас и в минуты нашего полного духовного пробуждения. Самое страдание человека о бессмыслице доказывает невозможность для него целиком в ней погрязнуть. Есть в нем сила, которая ей не покоряется; от нее отталкивается и от нее отлетает. Когда совершается этот полет, мы чувствуем в себе крылья; мы познаем их прежде всего в могущественном подъеме нашего ясного сознания, в головокружительной высоте парения нашей мысли. Где-то под нами пронесется бурный поток бессмысленной жизни, где-то внизу вращают-

ся бесчисленные колеса житейского круга, а в это время мысль уносится в сверхвременное царство истины и смысла, чтобы оттуда, с высоты, в форме вечности созерцать временное. Достигнув предельной высоты подъема над суетой, мысль наша не только чувствует свою от нее свободу, но и как бы некоторую власть над этой текучей, изменчивой действительностью. – Я не могу в любой момент остановить мыслью этот временный процесс, воскресить отдаленное прошедшее со всеми живыми, яркими его подробностями. Где Цезарь, Наполеон, Платон или Кант? Для суеты они канули в небытие, унесены в бесконечную, ушедшую даль. Но, подымаясь на сверхвременную высоту мысли, мы их видим, для мысли они есть. Вопреки повседневному опыту, где все кончается каждую секунду, мысль дерзает сказать – есть бесконечное прошедшее: в этом – ее право, в этом же и ее сила. Также и будущее: в той жизни, что под нами, его нет, оно еще не наступило. Но для мысли оно есть всегда, неизменно; в любую минуту я могу его предвосхитить и представить. Теперь лето, но я знаю, что в январе будет зима; теперь день, но я уже вижу умом ту ясную звездную ночь, которая его сменит. Теперь тишина; но закроем глаза, вслушаемся в наш внутренний звуковой мир! Разве мы не чувствуем, что мы в любой момент можем прослушать этим внутренним слухом любую симфонию – и ту, которая прозвучала вчера, и ту, которая прозвучит сегодня. Чего-чего не может сделать мысль, которая в любой точке останавливает летящую стрелу и, вопреки очевидности повседневного опыта, имеет полное право сказать: «Стрела покоится!» Мыслить движение именно и значит – найти покой в движении: мир мысли есть всегда покой.

«Мир мысли есть
всегда покой...»

И не одна мысль, восходя к смыслу, испытывает эту радость покоя: с нею вместе взлетает ввысь и воля. Там внизу, в мире, погрязшем в неправде, царствует всеобщий раздор, льются потоки крови. Но воля моя всею своею силою утверждает открывшуюся в мысли сверхвременную правду, единство всеобщей цели и смысла над всеобщей борьбой – полет мысли тут проявляется как совесть о безусловном. И, созерцая все эти откровения нашей духовной свободы, испытывая нашу духовную силу во всевозможных подъемах и взлетах, мы и в самом деле убеждаемся в правдивости вещего сна. – В человеке есть тот крылатый гений, о котором сон свидетельствует. Есть и какая-то внемирная высота над человеком, куда уносятся эти крылья.

Смысл жизни –
во сне или наяву?

Во сне и наяву мы воспринимаем две не только различные, но и две противоположные, несовместимые, спорящие между собою реальности. Которая из них истинная; где подлинное бытие? Чему верить – повседневным, очевидным доказательствам духа или тем, тоже очевидным доказательствам его бессилия? И, наконец, если в человеке спорят два плана бытия, то которому из двух он должен принадлежать? В котором из двух – цель и смысл его жизни?

Вокруг этих вопросов идет вековый спор двух противоположных жизнепониманий – жизнепонимания натуралистического, которое ищет подлинной жизни и ее смысла в плоскости здешнего, и жизнепонимания супранатуралистического, которое утверждает, что истинная жизнь и ее смысл сосредоточивается в ином, верхнем, потустороннем плане бытия. Рассмотрение этих двух решений жизненной проблемы приводит нас к заключению об одинаковой односторонности, а потому и одинаковой несостоятельности обоих.

Натурализм: смысл
жизни в подлинном
мире

Для натурализма – религиозного и философского – подлинная жизнь, средоточие всего ценного, что есть в мире, есть именно эта жизнь, которая протекает в посюстороннем плане бытия; подлинный мир – именно тот, который здесь перед нами кружится в одной плоскости, периодически нарождаясь и умирая. Ярким образцом такого жизнепонимания служит древнегреческая религиозность с ее культом творящей силы природы и с ее прекрасными солнечными богами-олимпийцами. Все эти боги грома и молнии, волн морских, лунного сияния и ослепительно яркого полуденного неба – суть человекообразные олицетворения радости здешнего. Пафос посюстороннего, вот о чем в один голос говорят эти образы. Греческая религия знает и потустороннее; но это – не надземный, а подземный мир, где темно и безотраднo; о нем говорит Одиссею тень Ахилла, говорит, что лучше быть на земле рабом и поденщиком, чем в царстве теней царствовать над мертвецами.

Загробный мир
древних греков –
отдаленная область
подлинного

С течением времени, после Гомера, представления греков о загробном мире обогащаются новыми чертами: появляются сказания о Елисейских полях, куда в виде исключения попадают отдельные «блаженные», «восхищаемые богами» и участвующие в их бессмертии*. Но это – не потусторонний мир, а только иная, весьма отдаленная область здешнего, страна, где не заходит солнце, наше солнце. Эта привилегия земного блаженства для некото-

* Ср. об этом: Rohde E. Psyche. T. I. С. 68–110. (III Aufl.)

рых избранников богов не только не вносит каких-либо существенных изменений в основы греческого жизнепонимания, но, как раз наоборот, подчеркивает характерное для него предпочтение посюстороннего. Зародившиеся значительно позже Гомера елевсинские мистерии связываются с обетованиями загробного «блаженства» для посвященных; но и здесь мы не имеем какого-либо переворота в жизнепонимании. Говоря словами одного из величайших знатоков древнегреческой религии, елевсинские мистерии не выдвинули какого-либо нового учения об изменении образа жизни, не дали какого-либо нового и своеобразного определения религиозного настроения, не высказали какой-либо новой, отличной от традиционной, оценки жизненных ценностей*. Все то «блаженство», которое обещают мистерии, сводится к облегчению посмертного жребия их участникам и окрашивается красками по существу посюсторонними. В особенности характерно, что все обетования и надежды сосредоточиваются здесь вокруг образа Персефоны, периодически похищаемой подземным богом и периодически возвращающейся на землю; некоторый, неясно представляемый возврат утраченного земного счастья, – вот, по-видимому, высшее, на что могут надеяться участники мистерий.

Культ Диониса –
культ биологического
круга жизни

Распространенный в Древней Греции культ Диониса с его верою в Бога, периодически умирающего и периодически оживающего, также не поднимает своих поклонников в иной план существования, над здешним. Как раз наоборот, дионисический экстаз есть погружение человека в тот вечно возвращающийся круг жизни природы, в котором нет окончательного подъема и победы, а потому все приковано к той плоскости, где периодически возвращается смерть. Обряды дионисического культа с их возбуждающей чувственность музыкой и бешеными плясками, напоминающими наши хлыстовские радения, выражают собою безумную радость здешнего. Если мы вспомним, что участники этих вакханалий после пляски живьем растерзывали жертвенных животных, рвали их зубами и глотали сырое, окровавленное мясо**, мы поймем, что это богопочитание не возвышается над порочным биологическим кругом жизни, сеющей смерть. Дионисический «экстаз» – не просветление, а озверение; это – не подъем человека в высшую надчеловеческую область, а, наоборот, ниспадение в подчеловеческую сферу существования.

* Там же. Т. I. С. 300.

** Там же. Т. II. С. 10.

Натуралистическое миросозерцание – плоскостное

Религиозные искания Индии – попытка вырваться из суеты действительности

Поиск всеединства через самопогружение

Теперь этот религиозный натурализм может считаться раз навсегда превзойденным. Миросозерцание натуралистическое, плоскостное – то, которое считает здешний план существования единственным, – окрашено явно антирелигиозным характером. В религии в наши дни в собственном смысле слова приходится считаться лишь с теми направлениями, которые так или иначе признают и утверждают потустороннее. Из них мы прежде всего остановимся на тех, которые представляют собою прямую противоположность жизнерадостному миросозерцанию древних греков. Я говорю о тех религиях Индии, которые не только не признают правду здешнего, но частью даже отрицают его реальность.

Переходя к этим религиям, мы чувствуем себя в духовной атмосфере вещего сна. Глубина религиозных исканий Индии выражается именно в том, что она превращает все суждения плоскостного здравого смысла в их противоположное. То, что мы называем действительностью, есть на самом деле сон; а то, что мы называем сном, есть подлинная действительность и подлинная ценность, – вот чему учит нас аскетическая мудрость браманизма и буддизма. Слово «Будда» даже буквально значит «пробудившийся». И все учение обеих мировых религий есть не что иное, как попытка осуществить это пробуждение, поднаться над наваждением суеты и тяжким бредом, именуемым действительностью; для буддизма, как и для браманизма, подлинное выражение истинной жизни и ее смысла – не эта действительность, а те крылья, которые влекут нас прочь от нее.

Пафос браманизма именно и заключается в ощущении той могучей внутренней силы духа, которая поднимет человека над всей тварью земною и надземною, над солнцем, над бурей и над самими богами*. Эта сила собранного в себе духа, которая является человеку в молитве и в полноте истинного ведения, и есть подлинное его нутро, его самость (атман). Но эта же «самость», которую человек находит в себе через самопогружение, есть единственно подлинное сущее: кто ее видит, слышит и исследует, тот тем самым познал весь мир, находит все прочие существа в своем собственном существе. В обманчивом чувственном представлении мир представляется нам множественным. Но через самопогружение мы находим его единство, мы прозреваем в нем «единое без другого».

* *Deussen*. Das System der Vedanta. С. 18.

Душа человека –
божественная
сущность

Восприятие всеединства через самоуглубление, – вот что составляет основную интуицию религии Вед. Противопологая эту интуицию мировой сущности и мировому смыслу царящей в окружающей нас действительности бессмыслице, учение Вед приходит к убеждению в призрачности этой действительности. Это – майя, т.е. обман, мираж нашего чувственного зрения и нашего несовершенного ведения, над которым должно возвыситься подлинное ведение. Подлинно есть лишь абсолютное, единое Божественное – Браман, тождественное с внутренней сущностью (атманом) человека и всякого существа. Душа человека – не истечение и не часть этой божественной сущности, а сама эта сущность, в которой нет ни перемены, ни различия, ни множества*. А потому и ведение человека есть приобщение к всеведению того мирового зрителя, который живет в каждом существе**. Познается это единство всего в Брамане не через какие-либо доказательства, ибо оно недоказуемо, а через непосредственное усмотрение. Тут мы имеем высшую очевидность***. С этим теоретическим утверждением всеединства связывается и практическое требование, чтобы человек отказался от всего индивидуального, отрекся от всякого эгоистического желания, от всякого искания награды здесь или за гробом****. Весь этот мир есть ложь; а потому и смысл жизни достигается лишь в полном отрешении от мира. Жизненный идеал браманизма есть полное растворение всего индивидуального, конкретного – в безличном единстве мирового духа, в Бrame.

Смысл жизни
в возвышении над
жизнью

Это аскетическое отрешение от всего доводится до конца в буддизме. Его идеал заключается в том, чтобы возвыситься не только над жизнью конечной, индивидуальной, но надо всякой жизнью как таковою, над самым стремлением к жизни, над самым желанием бессмертия. Буддизм оставляет без ответа самый вопрос о вечной жизни индивида, чтобы не будить в человеке того суетного желания жить, которое составляет корень всего мирового зла и мирового страдания. В полном отрешении от жизни и заключается то успокоение в «нирване», которое проповедует буддизм. В этом буддийское религиозное сознание видит единственный выход из порочного круга бесконечно возобновляющихся смертей и рождений; жажда «нирваны» здесь обуславливается отождествлением самой жизни как такой с суетой.

* Там же. С. 107.

** Там же. С. 91.

*** Там же. С. 137.

**** Там же. С. 84.

Нахождение
смерти

Задача религиозного искания остается в конце концов и тут неразрешенной. Аскетическое самоотрицание и сонное мечтание Индии оказывается такой же полуправдой, как и религиозное мироощущение древних греков: оно так же мало спасает нас от порочного круга, как и та радость жизни, которая олицетворяется светлыми солнечными богами-олимпийцами. Мы видим тут два противоположных жизненных стремления, две скрещивающиеся линии жизни. Одна утверждается здесь, на земле, упирается в землю обоими концами. Другая, напротив, стремится прочь от земли, вверх. Но обе линии роковым образом приводят к одному и тому же. Смертью оканчивается и преходящее опьянение жизненного пира Диониса и возвышенный полет индийского аскеза. Ибо то, что называется блаженством в браманизме, как и в буддизме, на самом деле не есть победа жизни, а как раз наоборот, победа над жизнью и, стало быть, победа смерти. Пафос обеих названных религий заключается именно в их отвращении к суеи и в их подъеме к трансцендентному. Но в этом подъеме как та, так и другая находят не жизнь, а смерть.

Индийская
религиозность –
вера в бессмысли-
цу жизни

В сущности, эта индийская религиозность верит не в смысл, а в бессмыслицу жизни. У индусов чувствуется духовный подъем; но он заканчивается роковой неудачей, которая свидетельствует о бессилии духа и бессилии жизни. Ибо здесь дух в конце концов не одухотворяет землю, не преображает ее изнутри, не побеждает в ней изначальной силы зла, а только сам избавляется от этой силы. Его отношение к земле – только отрицательное: он отлетает от нее навеки и тем самым отдает землю со всем живущим на ней во власть страдания, зла и бессмыслицы. Напрасны мучения и тщетна надежда живой твари: ибо в том спасении, которое возвещается аскетами Индии, для нее нет места: это не спасение жизни, а спасение от жизни: «спасение» браманов заключается именно в уничтожении всех конкретных форм, всего многообразия сотворенного: та жизнь Брахмы, которая сохраняется в вечности, в точном смысле слова не может быть названа их жизнью. Что же касается «спасения» буддистов, то оно заключается именно в отрешении от жизни как таковой, в полном ее самоотрицании. Чтобы совершилось это «спасение», должно прекратиться всякое стремление, должны исчезнуть все яркие краски мироздания. И вместе с радостью жизни вся красота вселенной должна испариться как обман.

Тем самым обращается в ничто тот полет и подъем к запредельному, который составляет сущность религиозных исканий Индии, ибо полет этот не приводит к цели. От земли

вместе с духом отлетает ее смысл; стало быть, все движение земного суетно, самое усилие земли – подняться к небу – в конечном счете оказывается обманутым. Это небо остается для нее навеки затворенным, запредельным, и миру телесному никогда не суждено с ним соединиться.

Несостоятельность
индийского
и греческого
решения вопроса
о смысле жизни

Индийское и греческое решение вопроса о смысле жизни оказываются в одинаковой мере несостоятельными. Греческая религиозность, утверждающая мир, вместо космоса находит хаос – беспорядочное множество борющихся между собою сил, не связанных единством общего смысла. А религиозность индийская совершенно отменяет мир как несущественное и бессмысленное, т.е., стало быть, также не находит смысла в мире, а видит смысл лишь в его уничтожении. В религии греков – хаотическое множество живых существ, не достигающих полноты всеединой вечной жизни; в религии браманов – единая, вечная жизнь Браммы, исключаяющая множество индивидуальных форм; в буддизме – мертвая пустота, покой смерти в нирване, – всё это различные проявления одной и той же неудачи жизни и ее искания смысла. Ищет ли человек этого смысла в горизонтальной плоскости земного или в вертикальном подъеме в другой, верхний, план существования, результат этих двух движений – один и тот же: страдание о недостигнутом смысле и то возвращение жизненного круга назад, на землю, в бессмыслицу, о котором говорит поэт:

О, смертной мысли водомет!
О, водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет.
Как жадно к небу рвешься ты;
Но длань незримо роковая,
Твое стремление преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

Крест – универсальное
изображение
жизненного пути

Обе эти линии, выражающие два основных направления жизненного стремления: линия плоскостная, или горизонтальная, и восходящая, или вертикальная, скрещиваются. И так как эти две линии представляют собою исчерпывающее изображение всех возможных жизненных направлений, то их скрещение – крест – есть наиболее универсальное, точное схематическое изображение жизненного пути.

Жизнь – перекресток
стремлений по
вертикали и по
горизонтали

Во всякой жизни есть неизбежное скрещение этих двух дорог и направлений, этого стремления вверх и стремления прямо перед собой в горизонтальной плоскости. Дерево, которое всю свою жизненную силу поднимается от земли к солнцу и в то же время стелется вдоль земли горизонтальными ветвями, представляет собой как бы наглядное символическое выражение в пространстве того же скрещения, которое совершается и в жизни духа.

Крест в этом смысле есть в основе всякой жизни. Совершенно независимо от того, как мы относимся ко Христу и христианству, мы должны признать, что крестообразно само начертание жизни и что есть космический крест, который выражает собою как бы архитектурный остов всего мирового пути.

Стоим ли мы на христианской точке зрения или нет – все равно весь вопрос о смысле жизни так или иначе приводится к вопросу о кресте: ибо вне этих двух скрещивающихся линий жизни других линий и путей быть не может: всякие иные пути представляют собою лишь видоизменения этих двух. Но, в зависимости от того, приводят ли эти жизненные пути к цели, завершаются ли они удачей или неудачей, – весь смысл креста будет различен. Если последний и окончательный результат всякой жизни есть смерть, то скрещение жизненных линий есть только предельное выражение скорби, страдания, унижения и ничего больше, – тогда крест есть только символ всеобщей муки: таким его и знало дохристианское человечество. Иное дело, если в скрещении своих линий жизнь достигает своей полноты, своего вечного, прекрасного и неумирающего смысла. Тогда крест становится символом этой высшей победы. В доступной нашему наблюдению действительности крест приводит к смерти. Спрашивается, может ли он стать крестом животворящим? Поставить этот вопрос – значит прийти к единственно правильной постановке вопроса о смысле жизни.

